

Василий Нарезный

Мария



Василий Трофимович Нарезный

Мария

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2548255

В.Т. Нарезный. Сочинения: М.; 2011

Аннотация

«Цель повести „Мария“ самая полезная. Автор хотел показать, что самое лучшее воспитание если оно не согласовано с предназначением нашим в общественной жизни, бывает для нас пагубно и что любовь, самая невинная, самая благородная, между людьми, родившимися, по-видимому, друг для друга, но в разных или, так сказать, противоположных между собою состояниях, есть ужаснейшее мучение, которое только одна смерть прекратить может». (Благонамеренный, 1824, ч. 18, с. 25).

Содержание

Василий Трофимович Нарезный Мария

Один из коротких моих приятелей, прожив в северной столице нашей более двадцати лет, дослужился значащего чина и остаток дней пожелал провести в покое. Наследственную деревушку, стоящую недалеко от Полтавы, назначил он пристанищем, взял отставку, простился с друзьями и, обещаясь мне вести исправную переписку, пока и я не последую его примеру, отправился в дорогу.

Спустя около месяца после его отъезда я получил письмо, по прочтении которого показалось мне, что оно не без пользы и удовольствия может быть читано и другими.

Письмо это, по выпущении того, что собственно касалось до меня и его, гласит следующее:

«В двадцатой день июля, от восхода до заката солнечного, я уехал около двенадцати верст, хотя ехал беспрестанно и лошадей измучил до крайности. Бывший накануне проливной дождь, превратившийся на этот день в мелкий и частый, до такой степени перепортил дорогу, не так-то исправную и при хорошей по-

годе, что я решился переночевать в ближнем селе, которое показывалось около версты в сторону от большой дороги. Слуга мой и кучер единогласно одобрили это намерение. Прибыв в селение, мы уведомились, что лучшего ночлега не сыщем, как в господском доме, в коем живет старый управитель Хрисанф, положивший обязанностью никому не отказывать в странноприимстве. С радостью приняли мы это предложение и въехали на господский двор. Едва приблизились к высокому крыльцу, как выскочили два работника и спросили, что нам угодно? „Отдохновения, – отвечал я, – а за издержки отблагодарю щедро“. – После этих слов один из спрашивавших скрылся, и через минуту предстал к нам старик величественного роста и вида, с седою бородой, в купеческой одежде. „Если вы, милостивой государь, – сказал он с учтивым поклоном, – не более требуете, как покоя на ночь, и надеетесь найти это в здешнем жилище, я прославлю случай, доставляющий мне удовольствие провести с вами наступивший вечер и разделить ужин. Люди ваши и лошади также не останутся непризренными. Прошу покорно!“»

Выскочив из повозки и дав нужные приказания слуге и кучеру, пошел я за хозяином в дом и, прошед несколько покоев, вступил в комнату, весьма хорошо прибранную, а в ней увидел покойную кровать, у окон

стол с письменным прибором и в углу шкаф. «Побудьте здесь, – сказал хозяин, пока я дам нужные приказания, чтобы все довольны были. Если ж покажется скучно, то в этом шкапу найдите несколько книг, которыми можете позабавиться».

По выходе его я взял свечку, подошел к шкапу, открыл и – остолбенел от удивления: я полагал, что найду там похождения Ваньки Каина, Картуша¹ и тому подобное, но – вместо того – увидел весь театр Корнеля², Расина³ и Вольтера⁴, басни Лафонтеновы⁵, полное издание Жан-Жака Руссо⁶ и лучших русских стихотворцев и прозаиков. В самом низу лежала гитара на куче нотных тетрадей. Несколько минут стоял я, не зная что и подумать о моем хозяине; наконец вынул

¹ ...похождения Ваньки Каина, Картуша... – Ванька Каин известный вор и сыщик, живший в XVIII в. Картуш – знаменитый французский разбойник, живший в начале XVIII в. Их похождения были описаны Матвеем Комаровым в XVIII в и пользовались большой популярностью.

² Корнель – Пьер Корпель (1606–1684), выдающийся французский поэт и драматург эпохи классицизма.

³ Расин – Жан Расин (1639–1699), выдающийся французский драматург эпохи классицизма, автор многих трагедий.

⁴ Вольтер – Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694–1778), знаменитый французский просветитель, автор повестей, поэм, трагедий и трактатов.

⁵ Лафонтен – Жан Лафонтел (1621–1695), известный французский баснописец.

⁶ Руссо – Жан Жак Руссо (1712–1778), французский писатель и философ, видный деятель эпохи Просвещения.

том Лафонтовых басен и уселся за столом.

Вскоре явился работник с самоваром, потом принес весь чайный прибор, а за ним пожаловал и управитель. Хотя во взорах его гнездилась какая-то горесть, очень ясно изображавшаяся, но он хотел казаться веселым, и я почел за неучтивость выведывать причины этой болезни душевной.

Когда прибор был вынесен и я остался один с хозяином, то не утерпел спросить: «Скажи, пожалуй, добрый старик, кто читает у тебя эти книги?» Он отвечал с горькою улыбкою: «Дочь моя, Марья. Конечно, я прогневил небо, что оно покарало меня в предмете моей горячности и, даровав мне милую, добрую дочь, сделало ее несчастною!» – «Почему же? – спросил я с недоумением, – по всему кажется, что дочь твоя воспитана гораздо выше своего состояния, и неужели это могло быть причиной какого-либо несчастья?» – «Это-то самое, – отвечал старец, – погрузило ее в бездну злополучия, от коего избавится она не прежде, пока не опустится в могилу».

Я не знал, что отвечать деревенскому жителю, которого взор, голос, движения и слова казались совсем несогласными с его званием. Любопытство начало подстрекать меня, и я задумался, выискивая приличный случай спросить, не казавшись нескромным, кто он и дочь его Марья, – как в ближней комна-

те раздался громко женский голос: «Он приехал? где? где?» Быстро отворились двери, и молодая, прекрасная женщина, в длинном белом платье, вбежала с отверстыми объятиями. Она устремила ко мне, но, не дошед шага на три, остановилась с трепетом и закрыла глаза руками. Я совершенно расстроился. Старик, со слезами на глазах, подошел к ней, взял за руку и сказал: «Ах, Маша! бедная Маша! сколько раз я просил тебя, чтобы ты в такую погоду не выходила из дому? Смотри, ты вся об- мокла, и руки холодны, как ледяные; поди в свою комнату и переоденься, а не то – ляг в постелю». – «Нет, – сказала она, открыв глаза и дико улыбнувшись, – мне спать не хочется. Злые люди обманули меня; они сказали, что Аскалон сегодня непременно будет сюда, и я бросилась встретить его. Но ах! целый день бродила по проезжей дороге, а его не видала. Возвращаясь домой, мне также сказано, что он уже приехал: я обмерла от радости – и опять обманулась». Тут она тотчас взглянула на меня, отворотилась и вышла из комнаты. Отец за нею последовал.

Очень ясно увидел я, что гоцу не у обыкновенных крестьян и что хотя бледная, с пасмурными взорами, в вымоченном платье, но все еще прекрасная Маша лишилась первого драгоценнейшего дара, которым провидение облагодетельствовало человека, лишилась

здорового смысла или по меньшей мере расстроилась в оном.

Когда я думал и передумывал о виденном и слышанном мною, хозяин вошел, а за ним работник с чашею пунша, о чем сей час догадался я по ароматическому запаху. «Милостивый государь! – сказал он дружески, – от слуги вашего узнал я что вы довольно времени прожили в Петербурге, а потому покорнейше прошу принять приглашение мое и выкушать стакан напитка, столько уважаемого на севере.

Хотя помещик этой деревни от роду в нее не заглядывал, однако приказал мне содержать весь этот дом точно в таком состоянии, как будто бы каждую минуту его здесь ожидали. Прошу покорнейше».

Когда в наших стаканах начало показываться дно, то время от времени делались мы доверчивее, чистосердечнее, и я без дальнего предисловия сказал, что очень было б для меня желательно знать, какие обстоятельства повергли дочь его в то бедственное состояние, в каком ее видим? «Вы не ошиблись, милостивый государь, – отвечал он, – что состояние моей дочери очень бедственно; она с каждою минутой приближается к гробу, и меня туда ж влечет. Она-то может служить примером, как воспитание, данное детям выше их состояния, бывает губительно. О Маша! Если бы ты оставалась в быту крестьянском, то, наверно, бы-

ла бы отрадою родителям, украшением стороны родимой, была бы благополучна, а теперь...»

Старик отер слезы, выступившие из глаз его. «Я вижу, – продолжал он, что вы любопытны знать причины несчастья, постигшего мое семейство. Повествование о горестях, нами претерпенных, облегчает тягость, обременяющую сердца наши. Выслушайте:

Я принадлежу знатному и богатому графу С. Когда он начал управлять сам своими поступками и именем, то из большого числа дворовых служителей избрал меня управителем его дома. Бесперывные занятия и хлопоты, сопряженные с этим званием, не оставляли мне времени и подумать собственно о себе и о дальнейшей судьбе своей. Радея сколько можно к пользам моего господина, я приобрел полную его доверенность; слуги его беспрекословно мне повиновались, я жил в довольстве, был здоров, спокоен в совести: чего ж не доставало к истинному счастью?

Граф от природы был кроткого, миролюбивого нрава, никогда не наказывал телесно, и в случае какого-либо проступка со стороны слуги или служанки один гневный взор его был великим наказанием; за то и служители берегли спокойствие его более собственного. Супруга графская была хотя не совсем дурного нрава, но так высокомерна, так напыщена своим сиянием, что редко кого-либо из подвластных ей людей

удостоивала ласковым взглядом. Она считала их за насекомых, которых могла душить и топтать по произволу; при всем том, однако ж, как такой образ ее чувствований был всякому известен и все старались служить ей с величайшим подобострастием то все шло наилучшим образом, и в нашем многолюдном, великолепном доме было весьма покойно.

Уже Аскалону, сыну графскому, исполнилось пять, лет как сиятельный дом обрадован был рождением молодой графини, Евгении. Тогда, при одном случае, граф сказал мне: „Хрисанф! ты уже начинаешь сидеть, а все еще не думаешь приобрести удовольствие видеть возрождение свое в милых детях. Я знаю, что при всей честности твоей ты имеешь изрядный достаток, следовательно, можешь упрочить им жизнь безбедную; сверх же того, за твою усердную службу, я сделаю тебя свободным со всем будущим твоим потомством, с тем условием, чтоб ты до смерти моей служил при моем доме, ибо я привык к тебе, и мне уже трудно на место твое выбрать другого“.

Такое милостивое расположение господина показалось для меня весьма лестным; я благодарил его чувствительнейшим образом, выбрал себе лучшую девушку во всем нашем доме, женился и чрез год обрадован был рождением дочери, этой самой Марьи, которую вы видели.

Ах! дума т ли я тогда, что она сделается источником тяжких для меня горестей! Но видно, так угодно было провидению!

Марья с самого младенчества обнаруживала кроткий., веселый ноав, покорность воле старшего и отличную чувствительность. Графиня, видя ее очень часто, ибо жена моя была при ней смотрительницей над всеми горничными женщинами и девушками, полюбила и по своей власти приставила ее непосредственно в услуги к своей дочери. Тогда Марье было от роду пять лет, Евгении шесть, а Аскалону одиннадцать.

По прошествии недолгого времени к молодой графике приставлены были учителя и учительницы; но главное воспитание предоставлено руководству славного аббата Бертольда, который воспитывал графского сына на швейцарский образец; ибо он, к несчастью, думал, что из россиянина ничего путного не выйдет, пока он предварительно в недрах своего отечества не сделается чужестранцем.

Евгения полюбила дочь мою, как сестру, и просила, чтобы им дозволено было и во время уроков не разлучаться, так как они доселе во всякое время были неразлучны.

Берточъд, как республиканец, похвалил такое благородное желание Евгении; родители дали согласие, и десять лет прошли так, что я благословлял небо за

дарованную мне покойную жизнь, за здоровье моего семейства и успехи моей милой Маши во всех упражнениях, приличных ее полу и воспитанию, превосходящему состояние родителей.

Граф Аскалон, которому уже исполнилось двадцать лет, был истинное подобие добродушного отца своего; он за правило поставил каждый день несколько раз навещать сестру свою и в обхождении не делал никакого приметного различия между ею и моею дочерью. Когда он хвалил успехи Евгении, то всегда вмешивал тут и Машу; когда приносил небольшие подарки одной, то и другая никогда забыта не бывала, и – по рассеянности своей нередко лучшие подносил последней, что бывало между ими поводом к невинным шуткам; ибо Евгения хотя была не столько простодушна и кротка, как брат ее, однако ж не столь горда и напыщена, как ее родительница; а привычка видеть дочь мою участницей во всех играх, в ученьи, в прогулках и поверенною во всех детских тайностях, в глазах всякого постороннего показывали их двумя нежными сестрами милого Аскалона. Так прошло еще около двух лет, и непредвиденная буря зашумела над головами беспечных, грянул удар грома, раздробил в корне дерево надежд наших и оставил самое горестное воспоминание. Так угодно было промыслу божию! Следуя вдохновению всемогущей мо-

ды, Аскалон должен был готовиться к путешествию по иностранным владениям, не для того, чтобы, все хорошее и все дурное чужеземное слича с хорошим и дурным отечественным, найти способы, истребив последнее, придерживаться первого, а так: то есть мода требовала, чтоб молодой, знатный, богатый человек путешествовал вне отечества, и Аскалон должен был непременно проскакать несколько сотен миль за границую. Когда мудрый Бертольд делал самые ревностные приготовления, к общему удивлению заметили в молодом графе задумчивость, уныние, даже некоторую дикость, какой нельзя было ожидать от человека, образованного по методе Жан-Жака. Такое необыкновенное явление родители приписали необыкновенной нежности сына и не могли нахвалиться тем и тайно и явно. День отъезда назначен, и Аскалон казался совершенно потерянным.

Добродушные люди, более склонные к покою, нежели к действию, а особливо в то время, когда потребовалось бы нечто к нарушению сего покоя, не скоро могут быть взволнованы до того, чтобы дозволили себе какое-нибудь огорчение без самой важной, побудительной к тому причины. Посему граф весьма хладнокровно слушал о меланхолических проказах своего сына и ни на шаг не отступал от обыкновенных занятий, кои были весьма не мозголомны. Однако ж, к ве-

ликому ужасу всего дома, накануне отъезда Аскалонова, поутру граф вышел из спальни в кабинет свой мрачен, как ненастная ночь осенняя. С негодованием выгнал он официанта, явившегося с шоколадом, и никого не допустил к себе. До двенадцати часов пробыл он в совершенном уединении.

Разумеется, что служители, в числе которых был и я, стоя у дверей, трепетали, ибо никто не мог припомнить, чтобы граф был когда-нибудь в подобном положении. В сказанное время он позвонил, и я по обыкновению явился.

Он был бледен; мрачные взоры его устремлены были в землю, брови нахмурены; он взглянул на меня вскользь и спросил вполголоса: „Приятно ли тебе видеть меня в сем положении?“ – Я обомлел, колена мои задрожали и, припадши к ногам его, я едва мог произнести: „Ваше сиятельство! от самой колыбели и до седин я был при вас непрерывно и никогда не имел несчастья видеть вас в такой горести, как ныне. Удостойте объявить причину оной и поискать способы истребить эту змею ядовитую!“ – „Встань, – сказал граф, ты должен узнать, да сейчас и узнаешь причину моей горести, и горести совсем не мечтательной. Ты опять изменяешься в лице? Разве ты предчувствуешь, что я хочу сказать тебе? Да! Если ты и под старость столько ж честен и предан своему господину,

как был в молодости, то ты должен угадывать теперешние мысли мои! Говори, но говори истину, ложь к тебе не пристанет: что— заключаешь ты о странностях, выкидываемых с некоторого времени моим сыном?“ — „То же самое, что думает весь дом вашего сиятельства!“ — „А что заключают мои домашние?“ — „Что молодому графу тягостно расстаться с своими родителями, с ближними“. — „Да, — вскричал старик необыкновенным голосом, — ему действительно тягостно расстаться, но только не с нами, а с твоею дочерью — Марьею!“

Если бы он на ту пору был громовержец и в гневе своем бросил в меня тысячу перунов, то едва ли мог бы поразить меня сильнее. Без чувств упал я на землю и когда опомнился, то увидел себя в постели, а подле оной рыдающих жену и дочь свою. Постепенно приводил я себе на память прошедшее и, взглянув на Марью, снова затрепетал и на вопрос жены: „Ради бога, скажи, что с тобою сделалось?“ — указал пальцем на Марью и со стоном сказал: „Спрашивай лучше у нее; она обстоятельно знает все дороги, проложенные ею на пути распутства, которое нас погубит!“ Марья зарыдала, закрыла глаза руками и вышла. Жена моя стояла в беспамятстве, устремя на меня неподвижные взоры. Я ничего немог сказать ей. Голос, с каким произнес граф имя Марьи, звенел в ушах мо-

их. Мысленно молил я бога, чтобы он благоволил превратить меня в камень, чтобы я не чувствовал своего несчастья.

Еще хранили мы с женою горестное молчание, как вошедший официант объявил, что граф идет навещать меня и желает быть без свидетелей. Жена по данному знаку вышла с посланным, я кое-как приподнялся на постели, и граф вошел. Лицо его было покойнее против прежнего, во взорах изображалась обыкновенная их кротость. Он сел подле постели и, помолчав несколько, сказал: „Я опечалил тебя, Хрисанф, и это мне досадно. Однако ж, согласись, что и я имею достаточную причину огорчаться. Подожди и выслушай до конца. Я надеюсь, что принятое мною намерение и тебе покажется самым лучшим по настоящим обстоятельствам. Знаю, что многие другие на моем месте поступили б по своей воле без всякого предупреждения; но я не хочу забыть, что и ты человек и отец и что счастье дитяти и для твоего сердца столь же дорого, как и для самого величайшего повелителя.

Из всех моих домашних, думаю, я один менее всех обращал внимание на поступки моего сына в последнее время его здесь пребывания. Может быть, дурчества его остались бы и навсегда неизвестными, ежели бы не случай обнаружил их. Сегодня поутру, когда Евгения поехала к княжне Юлии, дабы вместе

с нею протвердить роль из комедии, которую собираются нас позабавить, моя графиня, сама не зная как и зачем, очутилась в покое своей дочери. Представь, кто хочет, ее замешательства при виде чудного явления. Марья сидела на софе в самом унылом положении. Аскалон стоял перед нею на коленях и осыпал руки ее пламенными поцелуями. „Клянусь, – сказал он, обратив взоры к небу, – клянусь, что ты, прелестная Машенька, во веки моя, я во веки твой! Никакая власть земная не принудит меня избрать другую предметом моей любви, и рано или поздно ты должка быть моею супругой!“ Он с нежностью обнял Марию, но, услыша по сторону вопль матери, вскочил быстро, и оба любовника окаменели. „Недостойный! – сказала графиня, получив употребление языка, – как дерзнул ты употребить такую клятву, которая никогда не исполнится, по крайней мере до тех пор, пока твои родители еще не в могиле! Безумец! разве забыл ты, чья кровь обращается в жилах твоих и какое имя носить назначило тебе провидение? Удались, непотребный, и жди повелений от твоих родителей!“

Если бы Аскалон был рассудительнее, то, удалясь от огорченной матери, он бы избежал излишнего ее гнева; но он в ослеплении страсти отважился сказать: „Не думайте, матушка, чтобы я осмелился клясться без намерения исполнить свою клятву! Что ж касает-

ся до моего имени, от вас заимствованного, то сияние его нимало не помрачится, если я сообщу оное любезнейшему, прекраснейшему из творений общего отца нашего небесного. Так, Маша, – вскричал безрассудный молодой человек, схватя ее насильно за руку, – ты – рано или поздно – будешь графиней, или меня не станет в числе живущих под солнцем“.

Он тотчас вышел, а графиня, не обратив и внимания на жалкую Марью, вбежала в мою комнату, дыша гневом и мщением. Она рассказала мне все ею виденное и слышанное и, признаюсь, повергла меня в такое смущение, в такую нерешимость, каких я не чувствовал во все продолжение моей жизни. Призвали на совет г. Бертольда и объявили ему со всею подробностью о безумии его воспитанника. Мы ожидали, что педагог придет в замешательство, робость и даже из угождения родителям примет вид отчаянного, но не тут-то было. Швейцарец, выслушав все, улыбнулся, потер свои руки и весьма простодушно спросил: „О чем же вам угодно беспокоиться?

Такие происшествия так не редки, что и думать об них не надобно! Всякий должен желать себе счастья – это закон природы; так не должно ли предоставить ему на волю искать своего счастья там, где найти его надеется? Это также закон той же природы. Если кто доволен куском черного хлеба, зачем принуждать его

есть белый, на который почему-то он – но положим, по одной прихоти – и смотреть не может без отвращения? Это значило бы готовить оковы для природы, но она – по воле ее создавшего – всемогуща и действует по своим, а не по чужим правилам“. – „Как! вскричала графиня с удивлением, услыша умствование, какого никогда не ожидала, а особливо от светского философа, знающего твердо науку жизни, т. е. свою прибыль, – неужели вы, г-н Бертольд, без негодования и даже ужаса могли бы слышать безумное намерение нашего сына сообщить свое великое достоинство, веками приобретенное, простой, ничтожной комнатной девке?“ „Я готов отступить от своего имени, – сказал Бертольд хладнокровнее прежнего, – если вы у любой из знакомых вам княжен и графинь найдете что-нибудь такое, чего бы не имела Мария, и что которая-нибудь из двух первых могла бы в особенности способнейшею быть супругою Аскалона!“ „Слова г-на Бертольда доказывают, – сказала графиня язвительно, – ясно доказывают, что в его родословной нет ни князей, ни графов; оставим судить о правах природы до другого времени, а теперь надобно обезопасить права породы, и я непременно хочу, – продолжала она оборотясь ко мне, – чтобы эта ненавистная Марья сегодня ж обвенчана была с камердинером моим, Меркуром. Он уже не раз о том мне заи-

кался. Исступленный Аскалон, видя, что все его воздушные замки обрушились, поневоле успокоится, и все пойдет по-прежнему. Я уверена, граф, что вы не найдете лучшего способа вразумить безрассудных и восстановить спокойствие знаменитого дома“.

Такая скорая, неожиданная перемена в обстоятельствах, – продолжал граф, – привела меня в крайнее расстройство. Я смотрел то на жену, то на Бертольда и не знал, что отвечать, хотя в ту же минуту чувствовал, что я не в силах согласиться на предложение жены моей. „Не довольно ли, – сказал я, обратясь к графине, – если по необходимости делаем кому-либо хотя временное несчастье; зачем же добровольно, из какого-то темного сомнения, умножать это несчастье и делать его продолжительнее, а тем самым мучительнее, несноснее?“ – „Это модная филантропия, – вскричала графиня разительно, – она приятна только в романах, а в существенных делах никуда не годится! Поэтому ты, – сказала она весьма вспыльчиво, – так же равнодушно смотрел бы, если бы и Евгения обратила взоры свои на какого-нибудь“. – „Остановитесь, графиня, – вскричал я и почувствовал такое огорчение, такую досаду на всех, не исключая и себя, каких не ощущал в течение всей супружеской жизни моей. – Графиня, – сказал я, несколько успокоясь, – кажется, мы хлопочем о пустяках и более бес-

покоимся, нежели чего стоит самое дело. Тебе известно, что Аскалон завтра едет, и не на неделю или две, а на столько времени, пока совершенно выздоровеет от своей горячки.

Поверьте мне, если вы сами не испытали, – чем сильнее бывает пламя тем скорее оно потухает. Дайте мне переговорить с сыном, и я ручаюсь, что он никогда не забудет благопристойности, которая есть очень важное правило в светской жизни“.

Графиня и Бертольд удалились, а сын по приказанию моему явился. Я высказал ему все, что огорченный, но вместе и чадолюбивый отец говорить может, и к величайшему удивлению услышал от него то же, что прежде мать слышала. Видя, что суровостью ничего доброго сделать не можно, а напротив весьма легко взволновать еще более и без того слишком возмущенное воображение, я переменял способ объяснения и сказал: „Друг мой! Оставим пустые слова и пожалеем, что целое утро потратили на безделицу. Поговорим о чем-нибудь поважнее, например: завтра поутру ты отправляешься в путь довольно дальний“. – „Милостивый государь! – отвечал он, – я смею думать, что если и о важном предмете говорить очень часто, то наконец сделается утомительно, скучно! О поездке моей твердили все около полугода; все готово; я с родными и знакомыми уже раскланялся, остается испросить

ваше и моей матушки благословение и отправиться; но вместе с этим позвольте уверить вас, что намерение мое так твердо, так непоколебимо“. – „Так, как и мое, – сказал я решительно, – удались отсюда!“

Аскалон удалился, оставя меня в самом затруднительном положении. Ты знаешь, Хрисанф, что с самых молодых лет я терпеть не мог никаких ссор и браней, а теперь на старости должен начать настоящую войну с женой, с сыном, даже с самим собою. Я вошел в свой кабинет крайне расстроенным и пробыл там несколько часов, ни на что не решившись. Мне вспало на мысль, что ты так же стар, как и я, и что спокойствие твоей дочери не менее тебе дорого, как и мне сыновнее. Я позвал тебя в надежде услышать от тебя совет, каким образом поступить умнее в таком примерном деле; но смущение твое при самом начале открытия роковой тайны было столь велико, что я не мог извлечь из того ничего больше, как только то, что и ты до сего утра не более знал о сем, как и все мы.

„Старик! – продолжал граф с особенною чувствительностью, – скажи, как должен поступить я, чтобы не оскорбить человечества и не раздражить вкорененного порою самолюбия?“ – „Милостивейший государь, – сказал я с душевною признательностью, – вы редкий и едва ли не единственный из сияющих сво-

ими титлами бояр, который, защищая полученные им при рождении права и преимущества, печется и о спокойствии человечества!

Так! разлука, вечная разлука между Аскалоном и Марьею, по моему мнению, может только одна возвратить и тому и другой потерянное счастье; но вместе с этим, я думаю, что принуждать дочь мою отдать руку свою другому, без сомнения, на этот раз ненавистному для нее человеку, значило бы погубить одним ударом несколько человек: меня, жену мою, дочь, ее мужа и – самого Аскалона!“ – „Остановись! – вскричал граф с жаром, – эта выдумка родилась в воображении моей графини и должна навсегда остаться простою выдумкою“.

Подумав несколько времени, он сказал с видом решительности: „Вот как мы сделаем. Дочь твоя останется при тебе с этой минуты безвыходно. Завтра рано поутру Аскалон с Бертольдом и назначенными служителями отправится в путь. До первой перемены лошадей мы все, родные и знакомые, будем провожать его. Ты – разумеется, без дальней огласки – в течение сего дня приготовься также к дальней поездке. Для услуг себе возьми крестника твоего, форрейтора Архипа с сестрой его, Матреной; они сироты, и при тебе им будет не худо. Я назначаю тебя управителем самого дальнего поместья моего в Украине. В господском

доме оснуешь ты свое жилище и пробудешь там до тех пор, пока смутные обстоятельства переменятся. Доволен ли ты моим намерением?“

„Сиятельнейший граф, – сказал я с сильным движением, – можно ли придумать что-либо лучше, благодетельнее!“ – Потом я схватил его руку и осыпал ее поцелуями и слезами. „Хорошо, – сказал граф, – делай же свое дело; ввечеру получишь ты приказание к теперешнему правителю сказанного поместья, по которому он и сдаст тебе оное“.

Он вышел, и такая прямо отеческая благодетельность господина меня оживила; я встал с постели, призвал жену и дочь и велел им в тот же день быть готовыми к отъезду.

В следующее утро, с восходом солнечным, Аскалон ее всеми провожатыми отправился в путь, а спустя с час времени и мы двинулись. Проезжая двор графского дома, я и жена моя рыдали неутешно; но Марья была – бог знает как это и выразить – она была ни печальна, ни весела – какое-то равнодушие отпечатлевалось в каждой черте лица ее; ни стук проезжающих экипажей, ни мычание прогоняемых на паству коров, ни звонкий крик проходящих продавцов с разными припасами, ничто не моно хотя на один миг родить на лице ее какого-нибудь изменения – и когда выехали на заставу, и тишина полей разлила в душе моей ка-

кое-то темное, но приятное чувство будущего покоя, Марья опустила голову на подушку и сомкнула глаза. „Слава богу! – шептала мне жена – она уснула; я надеюсь, что сон будет для нее спасителен“ „Дай бог и святая мать его, – сказал я со вздохом – чтобы предчувствие не обмануло тебя“.

Когда остановились мы для отдыха и обеда, Марья соскочила с повозки, осмотрела всех и улыбнулась. Мать бросилась обнимать ее, а я с ужасом отступил, ибо улыбка эта – я не умею описать ее, – изображала душу, ничего уже не чувствующую. В глазах ее мелькал слабый огонек, под черным пеплом беспрестанно кроющийся.

„Матушка! – сказала она, стараясь уклониться из ее объятий, – не целуйте меня; вы сотрете с губ моих поцелуй, пламенный поцелуй, теперь только от него полученный! Ах он плакал, и сердце мое разрывалось; он обнял, поцеловал, и оно ожило, радостно забилося в груди моей, я почувствовала себя всю в огне, но мне было так приятно, так сладостно! Ах, матушка! Не мешайте мне; может быть он опять придет, может быть...“ – Она легла на траве, склонила голову на руку и опять закрыла глаза.

Жена взглянула на меня робкими глазами и едва могла проговорить: „Что это значит?“ – „Не более, – отвечал я с судорожным движением, – как только

то, что предел нашего бедствия приближается! Отец небесный! Если угодно было святой воле твоей определить нас к мучениям, то даруй нам терпение, и да одеревенеет язык, дерзающий роптать на провидение! Так, жена! Я предугадываю всю великость нашего несчастья, и нам не остается ничего, как молиться и терпеть“.

Зачем отягощать вас подробным описанием тех случаев, которые постепенно уверяли нас, что милая дочь наша потеряла полноту своего рассудка. О вещах обыкновенных говорила она довольно основательно, но как скоро примешивалась туда мысль об Аскалоне, то воображение ее начинало воспламеняться, она погружалась в мечтания, видела его в какой-то мрачной отдаленности, простирала туда взоры и руки, звала громко и оканчивала обыкновенно такие мечтания вздохами и слезами.

„Видно, теперь с ним вместе, – продолжала она, утирая глаза, – жестокие его родители, и он не смеет ко мне приблизиться!“ – Она погружалась в мрачное уныние и не прежде от него освобождалась, как после какого-нибудь сильного потрясения, какое могло б разбудить спящего обыкновенным, но глубоким сном. Да она и отличалась от спящей только тем, что имела глаза открытые, неподвижно к какому-нибудь предмету обращенные.

Прибыв в селение, мы расположились в этом доме.

Неутешная мать с каждым днем приближалась к гробу, и – по прошествии года – ее не стало! О, как велика была горесть моя; но Марья не оказывала никакой перемены. Видя всех рыдающих вокруг гроба, она к нему приблизилась, глядела на покойную, терла виски свои, как будто что припоминая, и после весьма равнодушно говорила: „Ах, ей теперь гораздо лучше! Никто, никакие родители не запретят ей видеть всегда тех, кои ей любезны; между тем как я – не смею о том и подумать“.

Так прошел еще год, так прошел и другой, Марья сделалась гораздо покойнее; реже предавалась своим мечтам, занималась прогулкой, чтением или игрою на гитаре.

Разумеется, что все ее окружающие крайне остерегались тронуть болезненную струну, беспрестанно звеневшую в сердце ее. Когда даже болезнь ее возобновлялась, что также было весьма нередко, то она, чем бы занята ни была, оставляла все, спешила одеться и уйти из дому.

На вопрос: „Куда ты, Маша?“ – она с доверенностью и удовольствием казала какой-нибудь лоскут бумаги, нередко ею самую писанный, и говорила: „Прочтите сами!“

Он пишет, что сегодня к нам будет, так не должно ли

пойти встретить его!“ – Тут всякое противоречие было бы тщетно. Вся предосторожность моя состояла в том, что я наряжал какую-нибудь из деревенских девок, которая, следуя за нею неприметно, как скоро видела, что слякоть, мороз, ветры и непогоды могли бы сделаться губельны для ее здоровья, подбегала к ней и уверяла, что Аскалон другою дорогою проехал прямо к дому. Тогда больная летела домой, видела себя обманутою, вздыхала, плакала и, сказав: „Видно сегодня что-нибудь его задержало“, – помаленьку успокаивалась; и в таком-то расположении духа видели вы ее в этот вечер. Целые три года не имею никакого сведения о господах своих. Все приказания относительно прихода и расхода по сему селению получаю я от главного управителя из столицы и туда же посылаю оброк. Ни в одном из писем столичных не упоминается даже ни имен графа, графини и детей их. Кажется, все, существующее в мире, готовится забыть меня с бедною страдалицею, – я же с своей стороны давно забыл все, и воспоминание дней радостных и дней горестных кажется мне воспоминанием сновидения, не оставляющего уже на сердце никакого впечатления.

Вот, милостивой государь, повесть трехлетнего моего здесь пребывания. Дни мои подобны воде болотной в омуте, осененном высокими деревьями. Никакие удары грома, никакие порывы вихрей не возму-

тят ее более. Дно и берега ее заросли травой зловонною, и в недрах клубятся отвратительные гады. Если что еще меня утешает, так это мысль, что я, по крепости телесного сложения, переживу несчастную дочь свою, испрошу на леденеющую голову ее благословение отца небесного, закрою глаза ее, столько слез пролившие, и положу в мрачной могиле. Сим самым предохраню ее от тех несчастий, каким может подвергнуться бедная, осиротевшая, расстроенная в духе и теле невинность. Правосудный боже! какого горестного утешения должен я у тебя испрашивать – утешения видеть в гробе дочь свою любимую, дочь единственную, в объятиях которой надеялся я некогда испустить последнее дыхание!“

Старик умолк и тихонько утер слезы; я был растроган в глубине души моей. „Вижу, – сказал я, подошед к нему, – что печаль твоя не мечтательна и что одна надежда мира иного, мира лучшего может еще поддерживать на кремнистом пути, заросшем терном и волчцами“. – „Ваша правда, – сказал он, так же вставши, – что эта надежда есть теперь единственный бальзам для растерзанного сердца моего“.

Он вышел, но скоро возвратился и повел к столу.

Я дал ему заметить то удовольствие, какое доставила б Марья, сделавшись собеседницею. „Она спит, – сказал старик, – а сон есть преддверие то-

го блаженства, какого, может быть, сподобится она, уснув сном непробуждаемым“.

Я провел ночь в сем доме и противу чаяния очень спокойно. Хотя Марья несколько раз мечталась мне в сновидении, но всегда так веселою, так довольною, с таким радостным взором, исполненным любви небесной и вышнего услаждения, что я, проснувшись с сладостным биением сердца, сказал: „Се образ Марии за пределами троба!“

Наставшее утро было прекрасно; повозка моя подвезена к крыльцу; добрый Хрисанф уже был там с корзиною съестных припасов на дорогу. „Что делает Марья?“ – спросил я. „Вот она в саду“. – Я взглянул туда и увидел, как бедная девушка ходила от одного цветка к другому, поднимала прибитые к земле минувшею непоудою, очищала от прильнувшей к ним грязи и расправляла перепутавшиеся от дождя листочки.

„Вот лучшее препровождение времени, – сказал старик, – каким в хорошую погоду занимается по утрам Марья; но спустя несколько часов ничто не удержит ее от намерения встречать того, которого по всему вероятно не прежде встретит, как в обители бесплотных“.

Я обнял старца, с сыновнею нежностью облобызал чело его, сел в повозку и пустился в путь. Несколько дней мысли о Марье были первыми при пробуждении

и последними, когда я смыкал глаза свои, сном отягченные».

Так оканчивалось письмо моего друга; и в продолжении более двух лет, хотя переписка беспрестанно между нами продолжалась, не упоминал он ничего о Марье: а посему и я тогда только вспоминал о ней, когда прописанное письмо в глаза мне попадалось. По прошествии сего времени, в самую зиму, получил я письмо из Москвы, которое было окончанием первого, а потому и оно здесь прилагается.

«Весьма несправедливо те думают, кои утверждают, что жить в деревне значит жить мирно с самим собою и с другими, следственно – жить счастливо. Это было бы отчасти и справедливо, если б удобно было к исполнению; но ужиться во всегдашнем мире с окружающими нас людьми столько ж возможно, как если бы я, поставлен будучи посреди Ливийской степи, сказал во услышание всем диким львам и тиграм: „Стекайтесь сюда, впрягайтесь в мою колесницу и везите меня куда укажу, а я уверяю, что мы доедем до таких благословенных мест, где челюсти ваши никогда не обогрятся невинною кровию робкой лани и смиренного агница! Вы будете с особенным вкусом насыщать алчбу зеленою травой и молодыми ее кореньями, а утолять жажду водою из источника!“ Не правда ли, что это удобно сделать одним только небожителям?

После сего длинного вступления, вырвавшегося из-под пера, так сказать, насильственно, я приступаю к делу, сказав, что глупая тяжба с одним из моих соседей заставила меня пуститься в Москву, ибо там дело мое должна получить окончательное решение. Несмотря на все неприятности, сопряженные со временем года, я снарядился и, перекрестясь, пустился в путь.

Проехав около двухсот верст и соображая приятности, какие видел я за два с небольшим года пред сим на этой же самой дороге, вокруг которой тогда на необозримом пространстве леса зеленелись и поля блестели золотом, с настоящим положением, когда повсюду расстилались снежные холмы и долины, вдруг вспомнил я о знакомце моем, добром Хрисанфе и о несчастной его дочери. Мысль повидаться опять с ними и, может быть, в последний раз пролила какое-то томное чувство в душе моей, близкое к удовольствию, но на него непохожее. Это чувство можно назвать надеждою увидеть занимательный для нас предмет в лучшем состоянии против того, в каком его некогда видели. Доехав до небольшой проселочной дороги, выходящей на большую, я велел по ней ехать, и чрез полчаса езды увидел перед собою деревню и господский дом, где обитал Хрисанф с Марьею. Но что представилось мне новое, чего прежде не было,

так это каменное здание, расположенное в уединенном углу сада, понаружности похожее на небольшую церковь или на огромную часовню. У входа толпилось несколько мужиков и баб, которые, вероятно, по тесноте храма, не могли в нем уместиться. Вдруг озарила меня мысль, что, конечно, кто-нибудь из владельцев находится в сем поместье и отправляет семейный праздник, почему я и не рассудил заезжать на господский двор, а искать приюта в избе крестьянской. Приказав слуге ехать далее и остановиться у первого крестьянского дома, я вышел из повозки, пришел на двор графский и, найдя в заборе отворенную калитку, вошел в сад и по представившейся тропинке, тщательно вычищенной и усыпанной песком, пошел прямо к церкви.

Издали еще услышал я унылое пение и увидел обильные слезы на лицах молящихся. С непонятным трепетом вступил я в храм и был пригвожден к помосту от неожиданности мною виденного. Вся церковь обита была черным сукном; по левую руку у западных врат устроена была пространныя впадина, посередине коей на довольном возвышении стояли два гроба, обитые малиновым бархатом. Они окружены были огромными подсвечниками с зажженными свечами. У изголовья одного гроба стоял, облокотясь на оный, молодой человек, одетый в глубокий траур. Ли-

цо его было бледно, глаза впалы, тусклы, полны слез. Длинные волосы в беспорядке расстилались по плечам; по обеим сторонам гроба стояли шесть священнослужителей и совершали молитвы о успокоении души Марииной. При сем имени колена мои задрожали, я чувствовал, что побледнел, кровь в жилах остыла, и я с судорожным движением воскликнул: „Мария в гробе!“ – Все предстоящие обратили на меня любопытные взоры; молодой незнакомец приподнял голову, взглянул вокруг взором испытующим, увидел меня, несколько мгновений смотрел внимательно, потом закрыл глаза обеими руками и склонился лицом к гробу.

Я не мог выдержать сего зрелища, представляющего повсюду глубокую горесть и мрачное уныние. Сейчас представилась мне мысль, что стоящий у гроба молодой человек есть не кто другой, как несчастный граф Аскалон. Положение сего безнадежного любовника терзало душу мою. Ах! Теперь только ясно видна беспредельная любовь его к Марье. Кто же опишет ужасную бурю, раздирающую душу его! Вместе с молитвами священнослужителей воссылал и я к благому, всевечному источнику любви и милосердия мольбы свои о успокоении в отеческих недрах своей души Марииной, поспешно вышел из церкви и пустился отыскивать свою повозку. Слуга, встретивший меня на улице и проводивший в теплую избу, подтвердил

мою догадку. Так, молодой человек, виденный мною у гроба, действительно был Аскалон, давший клятву остальные дни свои провести в уединении подле праха своей возлюбленной. Старая хворая женщина, остававшаяся в избе, рассказала нам, что молодой граф проживает у них уже около двух лет, живет уединенно, как отшельник, редко с кем видится, а говорит и того меньше.

Когда мы рассуждали о судьбе сего верного любовника, имевшего от природы и случая столько надежд на безмятежное счастье и изнемогающего теперь под ударами незаслуженного— им бедствия, дверь быстро отворилась и предо мною предстал знакомец мой, седовласый Хрисанф. С горькою улыбкой он протянул ко мне руку, и я обнял его с сердечным участием. „Да, старик, сказал я, усадя его на скамейке, — я нарочно заехал сюда, чтобы повидаться с тобою и твою дочерью. Я ласкался надеждою, что время, самый лучший врач, сколько-нибудь излечит раны ее сердечные; но ах!..“ — „Как, сударь, — сказал он вполголоса, — разве дочь моя несовершенно исцелилась от тяжелой своей болезни? Я по крайней мере уверен, что она теперь столько счастлива в другом мире, сколько была несчастна в здешнем! Я даже прославляю благость провидения, что оно, при самом начале уничтожения сладких надежд ее, лишило горестной способности

чувствовать бедствия свои в полной мере!

Граф Аскалон знает, что вы были здесь за два года и что история любви его вам известна. Хотя он, по принятым правилам, твердо им исполняемым, не имеет ни с кем никакого обращения, кроме меня и своего духовника Памфила, священника той церкви, которую вы сегодня посетили, при всем том гостеприимство не чуждо полумертвому сердцу его. Именем его, прошу вас в господской дом – откусать и несколько от дороги успокоиться. По праздничным дням, каков сегодняшней, мы – то есть я и священник, угощаем обедом приезжающих из города священнослужителей и крестьян, замеченных в точном исполнении обязанностей христианских, ходящих в страхе господнем и служащих кротостью и трудолюбием примерами для своих детей и всего селения. Прошу вас не отказать Аскалону в самом невинном его желании и потрудиться пойти вместе со мною“.

Хотя я знал, что приглашают не на свадебный пир и что не увижу более Аскалона, которого судьба сделала глубокое впечатление на мое сердце, однако я пошел за моим путеводителем и, вошед в господский дом, увидел в двух больших комнатах расставленные столы, покрытые изобильными яствами. Крестьяне и крестьянки стояли у столов, в ожидании благословения от священства, которое видел уже в церкви. По

окончании обеда все городские пастыри уселись в сани и поехали восвояси; крестьяне разошлись по домам, и я остался с Хрисанфом и престарелым отцом Памфилом, который, вскоре почувствовав усталость, неизбежную в его лета, также скрылся для отдохновения. По приказанию Хрисанфа, в камине запылали дрова; мы подвинули к нему свои стулья, и старый знакомец, взяв меня за руку, сказал с добродушием: „За два с половиной года перед этим видели вы мою Марью и принимали участие в ее горестях. Борьтсья с природой кое-как можно, но преодолеть ее – выше сил человеческих. По отъезде вашем Марья не переставала, как и прежде, каждый день выходить в поле для встречи своего любезного. Я очень видел, что такое препровождение времени день ото дня изнуряет, истощает телесные силы ее, но нечего было делать. Всякое сопротивление, как вам уже известно, было для нее несносно; она рвалась и страдала еще более. При наступлении глубокой осени она так ослабела, что не могла без помощи другого ходить по комнате и поневоле должна была слечь в постелю. Хотя я всегда ожидал сего последствия тех ужасных потрясений, которые расстроили ч корне древо жизненное, однако ж поражен был глубочайшею горестью, как будто бы изнеможение моей дочери постигло ее неожиданно.

Недалеко отсюда живет в своей деревне врач, че-

ловек прославившийся знанием в своем искусстве и готовности пособлять страждущему человечеству. За ним послал я карету и к пригласительному письму приложил довольно значительную сумму. Он не замедлил приехать и пробыл у меня два дня, испытывая тщательно степень болезни моей несчастной дочери. На вопросы о ее состоянии он обыкновенно отвечал: „Посмотрим!“

На третий день, едва я кончил утренние молитвы, входит слугитель и подает письмо, сказав: „От г-на доктора“. – „Как? – вскричал я, и мороз разлился по моим жилам, – разве не может он видеться со мною?“ – „Он давно уже уехал!“ – Тут ясно представилась мне вся безнадежность в спасении моей Марии; холодный пот оросил лицо мое, я дал знак слуге выйти, сел у стола и, вскрыв роковое письмо, немало подивился, увидя деньги свои, посланные доктору. „Увы, – сказал я, – все теперь объясняется; дочери моей не видать весны более!“ Доктор писал следующее:

„Осмотрев внимательно Марию и вникнув в источник ее болезни, я – судя по всему вероятно – заключаю, что земные врачи, кто бы они ни были, более для нее не надобны. Если благое провидение сжалятся над несчастною и возвратит ей хотя на несколько часов действие смысла, постарайся часы эти употребить с пользою и приготовь душу ее к миру иному. Воз-

вращаю присланные тобою деньги; за одни советы я пи от кого их не принимаю“.

Предсказание прозорливого доктора сбывалось очевидно. При каждом новом свидании с дочерью я находил ее слабее и слабее, и наконец она была не что иное, как высохшая былинка. Смерть мелькала из каждого ее взора. К половине зимы я был обрадован и вместе поражен горестью, нашед, что Мария получила употребление рассудка. Я стоял у ее кровати и рыдал неутешно. Ах! Я постепенно умирал вместе с нею.

„Батюшка! – сказала она однажды поутру, взяв руку мою и приложив к бледным губам своим, – не знаю достоверно, сколько прошло времени с того несчастного дня, когда мы все оставили столицу; но Матрена говорит, что эта поездка стала вашему сердцу весьма дорого, вы лишились моей матери и теперь скоро лишитесь и дочери.

Простите ли вы мне те горести, коих я была причиною?

Ах, с какою радостью оставляю я тогда печальное это жилище и перейду в другое в полной надежде на милосердие небесное и на жизнь лучшую!“ „Милое дитя! – говорил я, обнимая Марию, – если б угодно было сему милосердию, на которое ты надеешься, возвратить тебя и к здешней жизни, то я почел бы себя

счастливейшим отцом“.

Тут вошел священник, два дни уже проживавший в доме нашем, и я оставил их одних. С сего времени я не осмеливался уже утруждать ее моими стонами и рыданиями и возмущать сердце, полное веры, любви и надежды будущего блаженства. Я позволял себе только взглянуть на нее тогда, когда священник объявлял, что она предалась покою. Так протекли две недели, и я был призван к Марии. „Батюшка! – сказала она с улыбкой ангела, – благословите меня; я отправляюсь в путь дальний“. – „Да будет над тобой божие и мое благословение, о дочь любезная! Ступай с миром к святому источнику мира вечного!“ —сказал я прерывающимся голосом и принял ее в свои объятия; она еще улыбнулась, и я прижал к сердцу леденеющие уже остатки моей дочери. Тут-то я почувствовал, что, имев некогда добрую жену, нежную дочь, теперь остался я один во всей вещественной природе – один в такое время, когда голова моя побелела, когда всякий член приближался к разрушению! Злополучный старец! ожидал ли ты этой ужасной бури в душе твоей!

Ах! как приятно, но как иногда и горестно быть супругом и отцом!

При всем том благодать божия не оставила меня, и – я не возроптал. „Бог мне дал тебя, о дочь любезная,

бог и взял; да будет благословенно имя его!“ – так говорил я, сжимая очи Мариины, и луч горней ограды разогрел оледеневшее сердце мое.

Уже хладная могила была ископана; уже вокруг гроба Марии почтенные священнослужители возносили мольбы к милосердному отцу всего сущего, испрашивая новопочившей вечного мира в горних селениях, уже вопли и стоны собравшегося народа наполняли воздух, как вдруг услышали мы на дворе редкий стук быстро въезжающей кареты. Подобно вихрю, выскочил из нее молодой человек и в несколько мгновений очутился уже в погребальной храмине. Узнаю Аскалона, колена мои колеблются, и я принужденным нахожусь прислониться к стене. „Что это значит, – спросил граф тотчас, – кого погребаете?“ – „В сем гробе Мария, дочь Хрисанфова“, – сказал один из крестьян. Граф помертвел, задрожал и пал на руки его окружавших. „Праведное небо! – сказал я, стараясь оправиться. – Неужели еще и это зло было необходимо!“

Когда я объявил о имени молодого незнакомца, то все пришли в смятение и ужас. Мы совершенно не знали, что делать. По приказанию моему, графа уложили в постелью, где и оставили на попечение двух прибывших с ним опытных служителей; я же с своей стороны приложил старание, чтобы как можно скорее предать земле тело дочери. Зная с юных лет нрав Ас-

калона, я не без причины опасался, что, получив употребление чувств, он захочет видеть труп своей любезной, предастся новому терзанию и тем может навсегда расстроиться.

Не прошло и часа, как уже наша Мария покоилась в мерзлой могиле; в конце сада, у возглавия оной, я поставил деревянный крест. Несколько мрачных сосен и елей окружали сей последний одр покоя. Вы чувствуете, в каком состоянии была душа моя, когда косвенными шагами шел я от могилы к своему жилищу.

Граф приведен был уже в чувство и пожелал меня видеть. Бледно было лицо его, взоры с дикостью вокруг обращались. Беспорядок души виден был из каждого движения. По данному знаку служители при нем бывшие удалились, и мы остались одни. Он молчал, я также; наконец, с судорожным движением, устремя глаза в пол, спросил несчастный: „Итак, Хрисанф, – итак, Марии нет более!“ – „Почему же нет? Она теперь блаженствует“. – „Ах, не верю! Я знаю сердце Марии лучше отца ее и матери! И в недрах рая без Аскалона едва ли вкусит она истинное блаженство! Пойдем к ней; я хочу еще однажды взглянуть на предмет моей любви, и тогда делайте с нею, что хотите“. – „Любезный господин! – сказал я, также опустив к земле взоры, – уже тяжелая глыба земли лежит на груди Мариной и будет гнести ее дотолы, пока глас трубный не

пронесется из конца в конец вселенной: восстаньте!“

Быстро устремил он на меня взоры свои и с трепетом произнес: „Как! и сего последнего утешения меня лишили! Безжалостные! Бесчеловечные!“

После некоторого молчания он призвал слуг и с помощью их оделся. Потом сказал: „Я сейчас еду в город, – взял меня за руку и вышел на крыльцо. Веди меня на место, где покоится страдальца!“

С трепетом повиновался я и с сокрушенным сердцем привел его к могиле. Я не мог произнести ни слова и, указав пальцем на место, прислонился к сосне. С воплем пал Аскалон на сырую землю, обнял ее и произнес: „Ты здесь, моя Мария! ты здесь! о я, злополучный!“ Тут зарыдал он горько, и я мысленно восслав благодарение милосердому богу за сии спасительные слезы.

Около часа провел граф на могиле. Он призывал все силы небесные, умоляя их возвратить Марию или его взять от лица земли. Наконец, пришед в изнеможение и вняв моим просьбам, в последний раз обнял землю, оросил ее слезами и, встав, обнял меня и пошел из сада.

Карета готова была к отъезду; он сел и сказал мне: „На несколько недель отлучаюсь в город; до приезда моего никто, кроме тебя, Хрисанф, да не дерзнет прикоснуться к земле, покрывающей прах моей Марии“.

С сим словом карета покатила сколько можно быстрее.

Из первого уездного города получил я от Аскалона приказание: в углу сада, против могилы Марииной, построить немедленно деревянную беседку по приложенным чертежу и размеру. Хотя мне совершенно было неизвестно, на что понадобилась новая беседка, когда довольно находилось таких в саду, и хотя время года нимало не способствовало к постройке, однако ж я, собравши своих сельских плотников, принялся за дело с такою ревностью, что беседка готова была менее нежели в месяц; а спустя несколько дней явился и граф, но не один.

Вместе с ним в карете приехал старый священник Памфил, которого вы видели подле себя за обедом, и человек с двенадцать художников разного рода. „Любезный друг, – сказал Аскалоп, обняв меня с нежностью, священник останется у нас, может быть, навсегда, отведи для жилья его приличные покои в сем доме подле комнаты, где предки мои приносили молитвы свои богу, и назначь ему прислугу. Прочих же, приехавших со мною, в числе коих есть живописцы, столяры, слесари и другие, знающие свое дело, размести в пристройках дома, где кому покажется удобнее. Они хотя не навсегда здесь останутся, однако пробудут довольно долго“.

Едва рассвело поутру, я получил приказание явиться к графу и немало подивился, увидя его уже одетого и притом в глубокий траур. Когда я дал ему сие заметить, то он отвечал с горькою улыбкой: „Это одеяние для меня приличнее, нежели прочие, и я не переменю его до гроба.

В тот ужасный день, когда я против всякого ожидания увидел Марию в гробе, родилась в душе моей мысль, которую, может быть, почтут многие вздорною, но какая мне до того нужда! Довольно, что она меня услаждает, по крайней мере столько, сколько способно еще это растерзанное сердце чем-нибудь услаждаться“.

Сказав это, он пошел в сад; а по воле его – я, отец Памфил, все мастеровые и служащие в доме люди за ним последовали. Когда вступили мы в новопостроенную беседку, я поражен был удивлением, увидя посередине ее большой стол, а на нем два пустые, великолепные гроба.

Они покрыты были малиновым бархатом, украшены золотыми листьями в головах и ногах, с насеченными гербами фамилии графской и надписями, а внутри плотно выложены свинцовыми листьями. Осмотрев все и взглянув на меня с умилением, граф сказал: „Вот два последние жилища, для Марии и меня! Для сооружения их и места, пристойного заключать в себе

сии памятники бренности человеческой, из коей, однако ж, в последствии времени отделится достойная часть и воспарит к трону жизни вечной, – я нарочно был в городе, но уже в последний раз“.

От беседки отправились мы к могиле Марииной. По совершении Памфилом молитв о успокоении души ее в селениях горних, мастеровые принялись за открытие гроба: в короткое время он был извлечен из глубины земной и с примерным благоговением отнесен в беседку. Тут поместили его в назначенном гробе, возложили крышку и прикрепили ее с таким искусством, что ни малейший воздух не мог проникнуть во внутренность. Аскалон во все сие время беспрестанно обнимал гроб и проливал слезы.

На возвратном пути, на том месте, где доселе погребена была Мария, заложена церковь, во имя святой Марии, толико любившей своего спасителя. По наступлении весны явилось из города множество мастерового народа, и началось строение храма; Аскалон сам имел надзор за работами, и в середине лета здание было окончено; а как привезенные им из города художники в течение всего времени пребывания в нашем доме занимались беспрерывно каждый своею работой, то в 22 день июля, в день Марии Магдалины, храм освящен был с возможным великолепием, и в нем поставлены гробы, вами виденные.

Аскалон, совершив свое преднамерение, принял особый род жизни. Кроме священника, меня и двух слуг, он редко кого допускает к себе, и то по необходимости.

Главное препровождение его времени состоит в прогулках и чтении. Впрочем, такая уединенная жизнь не препятствует ему быть благодетелем не только крестьян, ему принадлежащих, но и посторонних. Через меня узнаёт он о их нуждах и никогда не оставляет без помощи. Все благословляют его; все хвалятся своим счастьем; один он носит в груди своей корень злополучия, который, приметно снедая все жизненные силы, более и более утверждается и, по-видимому, не прежде иссохнет, как во взорах страдальца потухнет последняя искра жизни“.

Старик умолк и погрузился в мрачную задумчивость.

Я, с своей стороны представляя положение безутешного, утешающего других и не находящего в том отрады для души своей, не мог удержать тяжких вздохов и наконец сказал: „О как превратны надежды человеческие! как скоропреходящи лучи обманчивого счастья! Увы! неужели гроб есть колыбель для человека? Но, – продолжал я, обратясь к Хрисанфу, – как узнал граф о месте заточения Марии, когда известно, что родители его и все домашние должны были скры-

вать от него о сем весьма тщательно?”

По прошествии трехгодичного пребывания Аскалонова в чужих владениях, сказал Хрисанф, он получил известие, что в доме его произошли важные перемены. Молодая Евгения, хотя почти от колыбели знала, что столетняя вражда, иногда тайная, а иногда открытая, разделяла фамилии графов С. и князей М., не усомнилась полюбить молодого Эраста, красу и подпору последней фамилии, да и князь пылал к пен истинною любовью. Ближние родственники той и другой стороны тотчас почувствовали, что этот узел может связать дружбой оба поколения, кои доселе, вредя одно другому, попеременно несли унижение и неприметно приближались к падению. Первоначально сделан приступ к старому графу С., и он столько был добродушен, умен и не самолюбив, что сейчас дал согласие на соединение своей дочери с Эрастом, который по всем отношениям достоин был иметь такого тестя. Несмотря на все сопротивления старой графини, день назначен, и брак совершен; но он соделался днем слез и рыдания. Отчаянная мать, видя, что злоба ее не имеет над умами других никакого действия, такую волю дала своему неистовству, что когда по совершении бракосочетания дочь ее и зять пали к ногам ее, прося благословения, она задрожала, поколебалась, пала и поднята без дыхания.

Легко представить, какое смущение и замешательство потрясли всех, и домашних, и посторонних. Все свадебные приготовления обратились в погребальные, и хотя по времени живущие начали забывать об упокоившейся графине, но супруг ее оставался неутешен. Для всех других была она довольно несносная женщина, но муж находил в ней такие достоинства, каких другие не могли заметить. В эту пору приехал к отцу сын и припал к ногам его. Долго старый граф держал его в своих объятиях и плакал неутешно; сын то же делал, целуя его руки и колена. Граф спросил: „Друг мой Аскалон! в каком положении твое сердце?“ – Молодой человек затрепетал, взглянул в глаза отцу и вместо ответа прижал руку его к своему сердцу и погрузился в его объятия. „Понимаю, – сказал граф величественно, но кротко, – Мария твоя жена! прими поцелуй сей моим благословением и отдай его твоей невесте как залог благословения небесного. Ах, сын мой! как горько видеть возле себя людей, плачущих слезами горести!“

Сколько Аскалон ни любил отца своего, сколько ни был благодарен за отеческое его к нему снисхождение, но в тот же день еще поскакал к обители Марии с двумя служителями. Увы! как поздно было его прибытие!

Узнав всю великость своего несчастья, Аскалон от-

писал к отцу о начертании будущей своей жизни. Никакие противоречия отца, сестры и зятя не могли поколебать его. Месяца с три назад старый граф опочил в гробнице предков своих. Аскалон совершил все священные обряды по сему случаю и, зная, что имеет уже племянника, оставил духовную, в котором, предоставляя половину доходов со всего имения, дабы удовлетворить стремлению своему к благодетельности, и освобождая меня со всем родством, даже самым дальним, от подданства, предоставил все прочие выгоды сестре своей и ее семейству. В таком-то положении вы нас теперь видите. Все мои родственники и ближние воспользовались уже благодеянием графа; я же могу ли блаженнее доканчивать последние дни, как не подле прахов моей жены, моей дочери и подле моего благодетеля!»

Так кончил старик. Наступил вечер. Я простился с ним с сердечным молением к небу подать ему при исходе жизни бальзам утешения и во всю дорогу до Москвы ни о чем больше не думал, как об Аскалоне и Марии, как о невероятной превратности во всем, что только бывает на земной поверхности.